**Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ**

Как я сюда попал, в Иерусалим, даже сейчас не могу понять. Всё сошлось как-то чётко и враз, все звёзды. Ну да я же такой, сам Серафимушка мне брат, а Матушка Господа мне матушка, и это я без зазнайства говорю, а просто правду говорю. Правду говорить легко и приятно, кто-то сказал, я где-то услышал это выражение.

Мой друг Родя Волокушин появился, вырос как гриб из-под земли, мотается у меня на пороге: «Андрюха, два уха! Что киснешь тут, дитя подземелья! Я спонсора тебе нашёл, он твои картины хочет купить, я ему фотографии показал, он говорит, это духовная живопись! И сам мужик такой, знаешь, духовный! От тебя, умоленного отшельника, недалеко ушёл! По святым местам шастает, в святых источниках купается! И знаешь, что он мне ещё сказал? Что хочет тебе сделать сюрприз! Какой-то, ёлки зелёные, сюрприз! И вроде сейчас не Новый год, а, Андрюха?! Не время вроде для подарков?!»

Пришёл этот богатый человек. Спустился ко мне в подвал, хромая. Сильно хромал, на одну ногу крепко припадал, да ещё и волок её за собой. Я постеснялся его спросить, что с ним; родился он таким или покалечился; мне потом Родька сказал, он в авиакатастрофу попал, самолёт падал на деревья, на лес, многие погибли, единицы остались в живых, вот он остался. Самолёт развалился на куски. Мужик этот вцепился в ель и сидел на ветке, над тайгой это было, а потом устал, измучился и свалился на землю и сломал ногу. Его чудом не съели волки.
И чудом нашли спасатели. Все на этой земле кого-то спасают. Один топит другого, убивает, а третий его спасает. Вот вся наша жизнь.

Всё наше чудо.

Богатый хромец надменно ткнул пальцем в мои холсты: «Вот этот мне! Этот! И этот!» Чуть не сказал: «Заверните!» И выбрал же, чёрт, «Безмолвную», «Ангела» и «Матушку», самые дорогие моему сердцу работы. Он стоял с вытянутым указующим перстом, а я спросил своё старое сердце: сердце, ты не будешь скучать по этим холстам? Не будешь тосковать? По портрету кришнаитки Лены, по Матери Господа моего, по золотому ангелу моему хранителю? И чакра анахата так отвечала мне: никогда не тоскуй, никогда не страдай. Всё уплывает, уплывёт и это. И сам ты уплывёшь по водам времени в лёгкой лодке навстречу любви. Люби и отдавай всё своё с легкостью. Я улыбнулся богатому хромому человеку и сказал ему: «Денег не надо».

Он очень удивился. Просто опешил, молча стоял как столб. «Как это не надо?» – растерянно спросил он. Он, наверное, подумал: я полный придурок. Живу в нищем подвале, глодаю сухую корку, и денег не надо мне? Что-то тут не так. «Так, не надо, и всё», – развел я руками. «Нет, вы возьмёте деньги! Обязательно! Иначе я уйду и больше не приду!» Кажется, он всерьёз разобиделся. Деньги, ведь это их, богатеев, родной язык, они все говорят на языке денег. А я этого языка не знаю. Мы с ним как два иностранца. Стоим друг перед другом и объясняемся жестами. И он передо мной пальцы веером разводит, а я ему кланяюсь, сложив руки на груди. Мы две планеты. И никогда мы не столкнёмся в ночном чёрном небе.

«Ну раз вы денег не берёте, – выпятив губу, говорит он мне, – тогда я вам делаю подарок. Вы, – говорит, – духовный человек, и я тоже духовный. Повысьте свою духовность. Вот вам билет в Иерусалим, на явление Благодатного Огня в храме Гроба Господня, иначе Воскресения. Вы никогда не были в Иерусалиме на Пасху? Вот, значит, побываете». И вынимает из кармана билет на самолёт и мне суёт. И я беру, а что мне ещё остается делать?

Родька Волокушин помог мне перевязать крест-накрест картины, чтобы удобнее было в машину грузить. Машина у хромого богатея отличная, «Лексус», такой мощный джип. Никогда уж мне на такой машине не покататься! Да и если бы я вдруг непомерно разбогател и купил её, как мне, старому грибу, сдавать на права? Зрения уже нет совсем. Слепну, и даже яркие краски не спасают. Перестаю видеть мелкие детали. Зато Третий Глаз работает вовсю. Вижу много чего. Да не каждому говорю. Молчать тоже надо уметь.

Погрузили мы мои работы, уехали они навсегда, вернулся я в подвал, а там под чайником свёрток лежит. Разворачиваю – доллары. Целая пачка толстая. Я их впервые увидел так близко. Волокушин ржёт. «Что, испугался?! Ну всё, теперь ты до конца жизни обеспечен, старик! Живи и в ус не дуй!» Я протянул пачку денег Родьке. «Может, тебе они нужнее, чем мне?»

Родя повертел пальцем у виска, кинул пачку на мой грязный стол, поближе к горячему чайнику и оплывшей свече, и убежал сломя голову. Бежал и хохотал. Надо мной.

Я доллары эти все отдал дочке моей Софочке и внукам своим. Себе малость оставил: на пропитание и на курево. И на кофе.

Кофе в моём возрасте пить много нельзя и курить много нельзя: мне сказали, инфаркт будет. Сосуды слабые уже. А я думаю себе: ну, пока меня не пристукнуло, ещё посмакую кофейку, ещё покурю. Подымлю и почмокаю. Слаб человечек, одной ногой в могиле, а всё хочет наслаждаться, дрянь такая.

И вот я здесь, в Иерусалиме, и стою в храме Гроба Господня. Сегодня Страстная Суббота. А завтра Воскресение Господне. Пасха. Народ в храм набивается, всё прибывает. Сюда трудно попасть, вход по особым билетам. У меня такой билет с собой имелся, мне хромец его дал, вместе с самолётным.

Люди входят. Люди втекают. Толпятся, охают, вздыхают. Кто-то забрался на плечи друзей, это эфиопы, а может, арабы, у них лица чёрные и потные. Мужики сидят на шеях других мужиков, кричат и бьют в бубны. Цирк! Люди встают всё плотнее, и всё жарче во храме. Мне тоже жарко. Голова кружится. Мне бы пора пить таблетки и с собой их носить; я слишком беспечно к себе отношусь. Пусть будет всё, как Бог решит! Ведь Он меня с небес видит. И теперь видит. Мою немощь, мою болезнь и слабость. И силу мою видит.

Странные голоса, толкотня, смутное пение, тёмные фрески по стенам. А может, это ожившие фигуры тех, кого давно на свете нет?
Голоса звучат. Я слышу голоса. Тёмное, дальнее пение. Идут тёмные печальные монахи, поют о том, как Иисус спускается в ад. Смелость надо иметь, чтобы сойти в ад! И я себя спрашиваю: а ты смог бы? Ты бы – отважился?

Важный человек в простой рубахе движется сквозь толпу. Толпа расступается. Люди жмутся друг к другу как дети. Прижимаются друг ко другу локтями, животами. Я слышу, кто-то рядом говорит по-русски: «Это патриарх Иерусалимский, патриарх, глядите! Он в одном полотняном подряснике!» Я понимаю, почему он в одном подряснике. Это чтобы все видели, что у него с собою нет ни спичек, ни зажигалок, ни кремня и огнива, ни тряпки, облитой бензином. Он не может зажечь Огонь. Человек не может зажечь Огонь. Только Бог.

А человек, ссутулившись, смиренно входит в маленькую кувуклию, в каменный тесный гроб, чтобы там, внутри, в кромешной тьме, умереть – перед явлением Света: перед Воскресеньем.

Меня теснили ближе к кувуклии. Внезапно погас свет. Мы все, паломники, молельщики, оказались в густой и страшной тьме.

Страх, настоящий страх. Это страх перед рождением. И перед гибелью. Мне сказали: если Огонь не сойдёт, Землю ждет скорая гибель, и все в храме тоже погибнут. Сердце моё стукнуло раз, другой и перестало стучать. Как у ламы Итигэлова. Я глубоко вдохнул и задержал дыхание. Господи, взмолился я, я так грешен перед Тобой! Мой грех может перевесить на чашах Твоих весов. Прошу, прости мне мой грех! Я лукавил перед Тобой, я негодовал и насмехался, я ругал ближнего и обманывал себя. Прости мне, если можешь! Но Ты же всё можешь!

Густая тьма пахла имбирём, корицей и кедровой хвоей, немного лимонной цедрой, немного розовым маслом. Она пахла Востоком, Иисус ведь жил на Востоке, он, Бог, в бытность Свою человеком сполна вкусил Восток, его пасхальных ягнят и его пресные лепёшки, его танцы живота и его песчаные бури. Он раскусил Восток, как сладость, как спелую смокву. Тьма, и очень страшно. Это ли страх смерти? Да ведь в эти минуты, здесь и сейчас, мы все уже умерли; чего же ещё страшиться?

Да, вот так там и будет, по ту сторону жизни, думал я тогда, стоя в толпе, стиснутый людьми, в тепле их дыханий и задыханий, в потустороннем поту их рук, шей и лбов. Моё лицо тоже было всё мокро. Плакал ли я? Помню, что молился. Хотел вытереть с лица пот и не мог – руки мои были с обеих сторон зажаты чужими телами. Чужими? Родными! Разве все мы тут не были любимые, бедные дети Божьи?

Тьма. Медленно, раз в минуту, бьётся сердце. Я не хочу считать его удары. Вокруг меня, за спиной и впереди молчат и дышат люди. Они ждут. Мы все ждём. У всех шевелятся губы. Все шепчут. Все молятся. Молюсь и я. Что значит моя крохотная молитва перед огромной, во весь храм величиной, во всю Землю величиной, всеобщей молитвой всех людей? Всех, кто верует и любит?

Единое во множественном, и множественное в едином. Из таких малых молитв складывается общая, святейшая. Складывается мольба о спасении. Не сегодня! Не завтра! Боже, пожалуйста, отодвинь от нас гибель! Пронеси мимо нас чашу сию!

Во тьме заиграли нежные сполохи. Еле видные молнии ударяли людям в плечи и затылки. Их головы обнимали призрачные нимбы; они слабо светились, вспыхивали и таяли. И снова наваливалась тьма. Я задыхался. Тьма забила мне лёгкие. Я ловил ртом воздух, как рыба, вытащенная из моря на берег. Люди задышали громче, тревожней, прерывистее. Я едва не терял разум. Господи, не дай мне сейчас умереть! Я ещё хочу увидеть Твой Огонь! Я ещё хочу жить! Жить! Господи, во имя Твое!

Огненные змейки юрко и быстро ползли из-под купола, сползали по стенам. Гасли. Ни шёпота. Ни стона. Все задавили, затоптали внутри себя своё страдание. Сейчас здесь не было никакого людского страдания, никакой скорби, никакого плача. Я будто поднялся над полом, завис на минуту, а потом стал медленно подниматься к куполу. И из-под купола я видел и чувствовал всех. Я слышал, как молятся старухи монашки. Видел, как текут слёзы по потному, смуглому лицу араба с серьгой в мочке огромного волосатого уха, и он волосатой мощной рукой отирает солёную влагу с подбородка, со скулы. Я слышал эти слова, потому что я их сам повторял: Господи, не оставь нас. Господи, не покинь.

А ещё думал: надо б помолиться мне за сынка моего Юрочку, что в тюрьме сидит. Избили парни мужика прохожего, ограбили, а среди тех парней Юрочка мой был; а мужик тот мимохожий чуть не умер, еле выжил. Всех изловили и посадили. Я Юрочке теперь письма пишу каждый день. Мысленно. И на бумаге тоже. Потом бумагу вчетверо складываю и никуда не отправляю, ни в какую тюрьму. Господи, и Юрочку моего не покинь!

Тьма вся пропиталась этими нежными, еле видными вспышками, зигзагами света, что был лишь воспоминанием о свете. Может, нам одна лишь тьма и осталась, а света больше не будет никогда. Не станет! И мы во тьме, слепые, протянув вперед руки, побредём по земле, лишённые солнца, лишённые огня и счастья, и будем хвататься друг за друга, и будем ощупывать мокрые лица друг друга, повторяя: «А помнишь?.. А помнишь?..»

Тьма колыхалась и густела. Уплотнялась. Сквозь неё уже нельзя было пройти, не изранив кожу, не сломав руки и ноги, не разбив упрямый голый лоб. Тьма обняла нас всех. Крепко обняла. И одна лишь молитва осталась на пересохших солёных губах – молитва о чуде, молитва о Свете.

Свет! Милый! Мы больше не будем. Мы не виноваты. Мы исправимся. Мы снова полюбим. Мы больше не убьём. Не обманем. Ты только приди. Явись! И мы, люди Твои, станем другие! Совсем другие! Милый Свет, ты же видишь, на самом деле мы хорошие! Мы просто заблудились во тьме. Мы заблудились и ошиблись, мы не поняли Тебя, мы слишком рано ослепли и не поверили в то, что прозреем. Свет! Родной! Радость! Радость наша! Радость моя! Сойди! Только сойди, счастье, единственное земное наше, бедное счастье, сойди, слышишь!

Под куполом будто открылось круглое окно. И из окна этого вниз упал прозрачный, чуть голубоватый столб. Внутри столба весело плясали золотые искры.

В этот миг распахнулась дверь кувуклии.

И, крепко держа в обеих руках толстые пучки белых длинных свечей, из чёрной двери каменного гроба вышел патриарх. Он высоко поднял над собой Огонь.

Это горел Благодатный Огонь.

«Агиос Фос! Агиос Фос!» – закричали кругом люди по-гречески, и по-латыни закричали, и по-арабски, и по-эфиопски, и по-английски, и по-сербски, и по-грузински, и по-русски, да, я услышал рядом с собой хриплое, ликующее: «Благодатный Огонь, ура, сошёл, Господи, спаси люди Твоя!» Из окошек кувуклии высовывались пучки пылающих свечей, и их подхватывали люди и быстро передавали из рук в руки; свет, что падал из отверстия под куполом храма, всё ярчел, столб света наливался ярким, торжествующим золотом, и я, вот чудеса, оказался прямо в этом столбе света – в круге Света, рядом с гробовой кувуклией, рядом с белобородым патриархом с неистово сияющими глазами, с поднятыми над головой руками, и в каждой руке мощно, победно горит свет, рвётся из рук, и тьмы больше нет. Где тьма? Нет её!

И вот уже по всему храму горит Огонь, люди передают его из рук в руки, возжигают от Огня свои, загодя припасённые свечи, мажут Огнём себя по лицу, по рукам, окунают в Огонь лбы, брови и волосы, а он не жжётся, он не обжигает, не сжигает, он сейчас жизнь, а не смерть! «Ещё зажегся... слава Богу... спасены...» – слышал я шёпот рядом и не мог оглянуться. Я смотрел на Огонь. Зрачки мои стали Огнём, ладони мои и плечи мои стали Огнём. Я с радостью сгорел бы в этом Огне, полностью превратился в него, остался им навсегда. И это была бы лучшая участь.

И все, кто стоял во храме и сжимал в руках, в кулаках пылающие свечи, молились об этом: мы станем Тобой! Живым Светом! Мы готовы умереть, мы больше не боимся смерти, если за её порогом Ты, Живой Огонь! Мы поняли, Ты изначален, всё началось Тобой и в Тебя же вернётся. Огонь, Ты и есть Христос Бог, это Ты Его дыханье, Его глаза и Его объятие! Каждый из нас может обожиться, становясь Тобой, Агиос Фос. Не отвергай нас! Обними нас! Благослови нас!

Святой Свет – против гибельного пламени.

Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Это я смутно вспомнил какие-то бредовые, старинные слова – то ли из церковной книги, то ли с какой церковной службы, на которой я стоял когда-то давно, а батюшка шёл во храме по кругу, тяжело ступая по каменным плитам, и махал перед носом у меня пахучим, дымным кадилом. Да, где твоё жало, проклятая смерть? Свет заливал храм. По лицу патриарха Иерусалимского текли слёзы и вспыхивали огнями. Все водили в воздухе пучками свечей, махали ими, пили и целовали Огонь, и у меня в руке невесть откуда взялся такой же пук тонких, белых, длинных свечей, какие и все держали, и кто-то поднёс к моим свечкам пламя и возжёг их, и они занялись как маленький костёр, вспыхнули весело и бесповоротно, и горели бешено, вольно, пламя взметнулось слишком высоко, пыхнуло, раскрылось ярким веером, ударило мне в лицо, я раскрыл губы, как для поцелуя, и вдохнул Огонь, и не почувствовал ожога, а только чистое, светлое, огромное счастье. Люди, хотел я крикнуть, глотая огонь, окуная в него щёки, губы, плачущие от радости глаза, люди, вот так целуйте и любите друг друга, как целуете вы сейчас этот Огонь! Вы, каждый, друг для друга – Агиос Фос! Так что же вы притворяетесь, что вы все злые, гадкие, хитрые, склочные? Вы изначально безгрешны. Вы – Свет! Не тьма!

Я окунул в Огонь ещё раз лицо, лоб и щёки и высоко поднял его над головой, и смеялся, не стыдился скалить в смехе беззубые свои, старые челюсти. Всё пылало. Всё ликовало. Всё стало внезапным и ярким счастьем. И теперь его было у людей не отнять. Не отобрать так просто. Все вцепились в него, в своё пылающее счастье, и высоко, ещё выше, выше поднимали его, чтобы все его увидели – и те, кого нет здесь, и те, кто далеко, и те, кто умерли уже и лежат под землёй во тьме. Я встал на цыпочки, чтобы поднять мой Огонь ещё выше. И тут что-то случилось с Огнём, с храмом, с миром и со мной.

Я стал видеть сверху сначала купол храма, горящего торжествующим Огнём; потом крыши и купола огромного города Иерусалима, грозовые весенние тучи над ним, потом земля странно, громадно выгнулась, и я видел этот мощный выгиб земли, кромку густо-синего, мрачного моря, ржавые шкуры лесов и старое сыпучее золото пустынь, и бронзу грозных, кучно стоящих гор, и земля то сдвигала свои плоские плиты, то раздвигала, кренилась набок, и тогда я падал вместе с ней и не знал, за что ухватиться, чтобы выжить, спастись; я видел смещение и шевеленье огромной, дикой суши, человек её только снаружи изгрыз, как мышь, а внутри она была всё такой же мощной и сильной, и великой, и страшной, как от сотворения мира. Колыханье пространств сотрясало воздух, и воздух вспыхивал и гас, воздух, играя, становился то светом, то тьмой, солнце падало в чёрный прогал, звёзды ныряли в ясную синеву, всё мешалось и проникало друг в друга; я видел дышащий Космос, я, маленький человек, и страшно мне было. И крикнуть я не мог, мне горло сдавило молчаньем, последней молитвой; я мог лишь раскинуть руки и плыть, плыть в жидких пылающих слоях неба, над руинами земли.

Передо мной летели люди, и надо мной летели люди, и за мной. Они все держали в руках ярко горящие свечи. Вязанки свечей пылали, и лица людей горели ярче пламени. Между людьми летели кони, они весело ржали. Летели свиньи и козы, индюшки и цесарки, летели павлины и распускали радужные хвосты. Рушились царства, и летели, срывались в пропасть камни и апсиды дворцов, хворост хижин, срубы распадались на брёвна, и чёрные брёвна летели в пустоте, вспыхивали и горели, горели в чёрном неохватном небе. Летели дети, они орали от страха, летели выпавшие из печей горящие головни, и летели трупы, сожжённые в печах для многолюдных казней, и летели задушенные, синие люди, кто задохнулся газом в убийственных машинах-душегубках, и летели разрубленные пополам, обезглавленные, сожжённые на кострах; и, пока они летели, раны их срастались, искалеченные члены на глазах заживали, обгорелая кожа, вся в рубцах и шрамах, менялась на новую, гладкую и свежую, и прозревали слепые глаза, и тянулись вперёд сломанные, изувеченные руки. Они летели, звери и люди, камни и звёзды, и все они искали в бездонном небе Того, Кто будет их всех судить последним Судом – или, может, прослезится при виде их, протянет им руки для объятья, а губы для поцелуя, обнимет, прижмёт их к сердцу и обласкает, – а они уж и не верят в это, они уж забыли, что такое прощение и милость!

Вот это картинку я видел в храме Гроба Господня, всем картинам картину!

Мне такой никогда не написать.

Это можно только увидать. Ну, немного рассказать об этом.

Не всё, в общем-то, можно рисовать. Кое-что рисовать и нельзя.

«Милости хочу, а не жертвы!» – как в бреду, шептал я сам себе, а может, шептал это моему Богу, Он сегодня опять воскрес, возродился, Он послал мне и всем нам Благодатный Огонь, и за это одно, за сияние это, за могучее горение этого Огня, я готов был пойти за Ним в огонь и в воду, трудиться и не изнемогать, готов был забыть всё, даже незабываемое, и начать всё сначала, и любить, всецело, всем существом и всей душою любить, даже если меня будут топтать и растопчут в грязь, в лепёшку за мою любовь, смешают мои кости и кровь с землёю и прахом.

Я летел в небесах с ними со всеми, с моими людьми, с моей земной несчастной живностью, с моей землёй, с моими руинами и иконами, и я молился так: Господи, я видел сушу Твою и море Твоё, землю Твою и небо Твоё, это Твоя Европа, это Твоя Азия, Африка Твоя и Америка, океаны Твои тихие и громкие, это Твои сироты, материки, каменные Твои плиты, что под дыханием Твоим сдвигаются с мест и плывут в никуда! Ты стоишь на материке, как на золотой льдине. Земля даст трещину, а Ты поднимешься над пастью ада и опять полетишь! Ты есть Свет, Тебя не поймать в мышеловку. За Тебя людям отрезают головы. За Тебя расстреливают и сжигают. Почему нам надо, так неистово надо верить в Тебя?!

И сам себе я ответил, задыхаясь, летя в светящейся бездне: потому, что все мы, каждый, к Тебе, в руки Твои вернёмся!

И здесь, в этом древнем старом старике Иерусалиме, где тысячи тысяч людей рубились и любились, где крестоносцы побивали сарацинов, а сарацины крестоносцев, где мечи обжигали воздух и рассекали живые, твёрдые и тугие тела, как нож масло, где гудели по всему городу дикие пожары и, стоя на коленях, плакали, молились и хрипло орали одичалые люди, а людей бросали в костры, как доски, как брёвна, здесь, в нежном Иерусалиме, где много сверкающих под луной громадных яблок, дынь и апельсинов, в ночи спят мечети и минареты, золотые купола, алые, красные, медные гигантские гранаты, полосатые тыквы и терпкие жёлтые лимоны, бронза смокв, яшма тёмной райской листвы, здесь, где веками люди дрались и убивали, один другого, за свою единственную веру, мы стояли в храме Гроба Господня, глядя друг на друга, мы, последние христиане, и мы понимали: ещё прольётся кровь, ещё убьют нас за нашу веру, и мы убьём в ответ, и на пепелище кто-то из нас, кто победит, начертает крест, а может, полумесяц. Мы, в дни крестовых походов, бились за Гроб Господень, а теперь нам за что биться? Народы с Востока бегут в Европу, в Париже стреляет во французов мальчик из Дамаска, русский Василий становится арабом Батталом и едет в Новый Халифат, чтобы резать, как баранам, глотки пленным англичанам. Храм! Гроб! Огонь Божий! Ты видишь, Боже, никуда мы от Тебя не убежали, как ни старались!

И тут я вроде как мгновенно выпал из круговращенья, из клубящихся диких ветров. Оказался опять на дне сверкающего огнями храма. Оглянулся. Огни горели. Золотые космы огней вились во мраке, как на ветру. Рядом со мной, по левую руку от меня, чуть сзади, стояла маленькая женщина. Голова её и лицо были укутаны в плотный чёрный платок. Я сперва испугался её. У неё не было носа. У неё не было век и бровей. У неё не было губ, вместо губ шевелилась безгубая страшная щель, прорезавшая бритвенным лезвием плоть.

У неё не было лица.

Я не сразу понял, что у нее сожжено лицо. Обожжено.

Глаза на том, что высовывалось из-под чёрного монашьего платка вместо лица, на поверхности огромного ожога, смотрели черно́ и скорбно. Век не было, они тоже были сожжены. Её глаза глядели, как у совы: кругло, мрачно, не моргая. Видно было, что хирург попытался слепить ей из её же кожи губы, пытался натянуть на слишком круглые глаза веки; у него не получилось.

Женщина глядела на меня чёрными, круглыми, как озера, бездонными глазами, и я стал тонуть в этих глазах. И ещё больше испугался. Пук благодатных свечей горел в моей высоко поднятой, как у грозного ангела, руке. Я опустил руку и поводил косматым огнём около лица. Потом поднёс огонь к лицу женщины. Она не отшатнулась. Но я увидал, как безгубый рот раздвинулся в уродливой страшной усмешке.

И я отдёрнул руку с огнём.

Что я делаю! Я устыдился. Огонь, я вижу его как жизнь, а она видит его как смерть. Но она стоит неподвижно. Стоит и смотрит на меня. Мне надо ей что-то сказать. О чём с ней говорить? У неё вместо лица сплошной рубец. Кожа наросла на лице, но зажила ли душа? Что она пережила? Зачем она здесь?

Она ничего не говорит, только молчит и смотрит. Может, она глухая, немая?

Я осторожно поднял горящий пук свечей над нею и над собой. Теперь огонь озарял нас двоих. Круглые совиные глаза прямо глядели в мои глаза. Уродливая монахиня с обожжённым до костей лицом смотрела на меня сурово, почти осуждающе. Я для неё был здоровый жлоб, весело живущий в мире здоровых, сытых и счастливых. Она же не знала, что я беден и слаб, и что я валяюсь на дне Божьего котла, и совсем скоро меня сварит и съест прожорливое время. Чёрные, как нефть, глаза. Фигуры не видно под суровой чёрной тканью. Если так жестоко обожжено лицо, значит, сожжено и тело. Сожжённая живьём стояла передо мной во храме, и я не знал, чем её утешить. Самим собой?

Завтра, только завтра ещё ждала Пасха, сегодня целоваться было рано, но я, далеко отставив руку с огнём, все равно приблизил лицо к лицу уродки, такими, наверное, в древности глядели лица прокажённых, отверженных, что при дорогах сидели и милостыньку просили, и троекратно её поцеловал. Под моими губами трещала и разлезалась горячая кожа в корке жёстких рубцов. Вспаханные шрамами щеки краснели. Значит, в них ещё текла, играла кровь.

Один поцелуй в щеку, другой поцелуй в щеку. На третий раз женщина резко повернула голову, и под моими губами оказался её страшный рот без губ. И я поцеловал этот страшный рот – хотел крепко, а поцеловал нежно, еле дыша, еле касаясь земной чёрной щели живыми губами. Это я землю, землю поцеловал.

И я не умер от отвращения и сознания от гадливости не потерял.

Чудо Огня, небесная Псалтырь! Я целовал её, взорванную, разрытую землю, живую святую книгу. Человек живее всех на свете книг, он и бессловесный стоит и глядит, как Бог, и под этим взглядом ты живёшь и умираешь. Я читал эту женщину, листал её сожжённые страницы. Буквы пожрал огонь, но вместо слов дышали, двигались сизые, золотые тени. На каждом из нас, на нашем лице, на груди и плечах, на ладонях и стопах, записаны великие молитвы. Мы, живя на земле, не знаем их, не повторяем на ночь. Но, стоя во храме перед лицом Огня, мы внезапно все их, до словечка, вспоминаем. И быстро, спотыкаясь, взахлёб, шепчем! И спешим выговорить, выбормотать, выпустить во тьму! Я бы тогда рёбра свои, как клетку, разбил, разорвал. И выпустил огненное сердце на волю. Лети! Пой!

Я искал губами чужие губы, а их не было. Горячее дыхание вылетело из-под земли и опахнуло меня, моё склонённое лицо. Я выпрямился.
Уродка по-прежнему круглыми неподвижными глазами смотрела на меня. Потом она попыталась закрыть глаза. На радужку наползли ошметки обгорелой кожи. С полузакрытыми глазами стояла она передо мной, маленькая, худенькая, как птица. И мне захотелось взять её на руки и унести отсюда. На волю. На воздух. Под солнце.

Я поднял руку и пальцем осторожно коснулся её безгубого, изрытого шрамами рта.

Радость и счастье пылали на лицах. Иконным золотом светились щеки и лбы. Все стали детьми. Или ангелами. Люди передавали друг другу Огонь, окунали лица в Благой Свет. Умывались им. Всюду вспыхивали крики: «Кирие элеисон! Боже благий! Тэр аствац! Синьоре абби пьета ди! Господи помилуй!» Все радовались и ликовали, а передо мной стояла несчастная уродка, сгоревшая однажды заживо, стояла во храме, и храм ничем не мог помочь ей, и Господь не мог.

И она смотрела на меня, будто бы я был её Бог, Господь, сошедший к ней то ли с небес, то ли с фрески, из-под купола, то ли вышедший из клубков огня, но она руки не поднимала, не тянула ко мне, и молчало её неподвижное бугристое лицо, и молчали совиные глаза, лишённые век.

А я смотрел на неё так, как будто я был её блудный сын, а она моя старая мать.

О чём она думала, эта маленькая, худая, величиной с птичку, закутанная в чёрную шерсть, иностранная уродка? Я не думаю, что она была русская. А она не знала, какого народа я. У нас обоих там, в этом храме, не было национальностей. И, может, это было верно. Перед Богом все равны. У Бога сто имён, и Он всё равно Истина.

О чём думала она, на меня глядя? Как, куда текли её мысли? А может, она не думала ни о чём? И я тоже отключил ум: я это умел. Без мыслей, без чувств, только глубоко и правильно дыша, мы стояли друг перед другом. Нас обнимал горячий воздух, в нас бил, как в бубен, безумный от радости свет, и языки огня плясали перед нашими лицами и за нашими спинами. Так мы стали ангелами, и у нас за спиной горели и бились слепящие огненные крылья. Мы не удивлялись им. Мы, два ангела, глядели друг на друга, и храм весь гудел и пел и кричал, и времени не стало, небеса свились в огненный свиток, и мы оба знали в нём каждую живую букву.

И я по-прежнему высоко держал руку с пуком пылающих свечей.

Воск стекал мне на пальцы, но я не ощущал ожога.

Кто-то рядом с нами, задыхаясь от радости, громко восклицал на незнакомом языке одно слово, всё время повторял и повторял его. Слово било меня в лоб, так бьёт кувалда в медный гонг. Потом тот же голос заполошно крикнул по-русски в огненную тьму обезумевшей от счастья церкви: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!» Поодаль люди пели хором; они пели от радости. Радость обнимала всех, и ради этой радости надо было лететь за тридевять земель. «Спасибо, Серафимушка, спасибо, Матушка», – шептал я, сам не зная что, называя имена всех, кого любил, и кто любил меня. Из-за любви я приехал сюда. Кто я? Будда, Кришна, Иисус, Иегова? Внутри еврейской земли стоит православный храм, и неужели и он сгорит в грядущем огне?

Женщина, не отрывая от меня глаз, разлепила то, что прежде было её губами. Она хотела что-то сказать.

Силилась вытолкнуть слово. Не смогла.

Её страшное лицо люто искривилось, пошло волнами. По нему медленно, трудно расходились круги страдания, будто в него, как в горячее озеро, бросили камень.

А потом оно опять застыло. Застыли рубцы и шрамы. Ожоги сковало льдом.

Молчание накрыло это лицо прозрачным зимним пологом.

Вначале было Слово? О нет. Нет. Вначале было горячее дыхание.
И поцелуй. И слёзы.

И глаза, что, не моргая, глядят в самую сердцевину тебя, в твою первую и последнюю тайну.

И тогда я, крепко держа над головою Свет, сам наклонился к уродке.

И тихо, внятно сказал, так раздельно и понятно говорят глухим:
«Я тебя никогда не забуду».

Может, она, иноземка, меня не поняла. Скорей всего, не поняла. Плевать.

Я всего лишь обычный русский юродивый, так мне всегда говорил, хохоча, Родька Волокушин, ну, я и сам это знаю давно, и сам себя таким считаю, и что в этом зазорного? Между прочим, такие люди, как я, их много на Руси. И раньше много было. Они ходили по дорогам, пророчили, проповедовали, выбрасывали всякие коленца, выделывали штучки. Их боялись, их гнали батогами, над ними издевались, на них показывали пальцами и кричали: вон, вон он идёт, голый дурак! – перед ними вставали на колени и, плача, благодарили их за учёбу и прозорливость. Нет, я не прозорливый, куда мне! Слишком часто я слышал от людей то, что я дурень. Сумасшедший, идиот, придурок, умалишённый. А знаете мою последнюю новость? Моя давняя армянка, почти забытая мной моя девчоночка, из моей юности, из моей армии, нашла меня, прислала мне письмо, у меня на земле, оказывается, есть ещё один сын, и его зовут Андрей, как и меня; моя весёлая армянка забрюхатела тогда, в брошенной ледяной избе с разбитыми зеркалами, выносила, родила и назвала ребёнка в честь меня. Ещё один Андрей-воробей! Гоняй, гоняй жирных ленивых голубей! На фотографии сынок мой новоявленный сильно похож на меня. Копия меня, никакой крови на анализ брать не надо, чистая работа. Вот несчастного сынка моего Юрочку выпустят из тюрьмы, и мои сыны подружатся. А может, плюнут друг на друга; это уж как получится. Иногда на меня накатит, и я вдруг вспоминаю ещё одну девушку свою, горячую, как головня из печи, отвязную девчонку из поезда «Горький – Адлер», бойкую проводницу, моего чёрного, косматого, тощего ангелочка. Где она теперь? Иногда мне кажется, я вижу её в городской толпе. Но зрение моё ослабло, и я могу обознаться. Да и зачем я буду окликать её? Всё, что было, всё уплыло. Я сказал ей когда-то, там, под стук колёс: я тебя везде узна́ю. Враньё. Человек на лицо и тело с годами меняется неузнаваемо, а ещё сильней меняется его нежная тёплая душа: черствеет, леденеет. А знаете, чего больше всего я хочу? Ни за что не догадаетесь. Я хочу однажды собрать котомку, вскинуть на плечо, выйти из подвала, даже не закрывать его ни на какой ключ, пусть тот, кому надо, вещичками моими попользуется, и двинуться в путь. По дорогам. По градам и весям. Буду идти и идти, и птицы будут петь надо мной. Буду встречать людей, и добрых, и злых. Злым буду говорить о добре. Добрым буду улыбаться, и садиться рядом с ними, и есть и пить вместе с ними; а потом просить их: добрые люди, дайте мне, Христа ради, маленький шматочек вашей доброй, дивной души! От вас не убудет, дайте! И они будут отщипывать от своей горячей, вкусной, тёпленькой душеньки самый тёплый и вкусный кусочек и протягивать мне, и улыбаться мне. А я буду складывать чужую милостыню, чужой хлеб, чужие грязные монеты, чужие дарёные само-
цветы в котомку, а может, вовсе не самоцветы никакие, а невзрачные камешки, как тот, что мне когда-то кинул Серафимушка около обители своей, когда я к нему, преподобному, паломничал. На камешке том выбита буквица, не различить. Буква «М», мир! Буква «В», время! Буква «Л», люди! А может, любовь! Да, любовь. Любовь в век, когда все передрались? Эка чем удивили! Дрались всегда. В век, когда все смеются друг над другом и держат за пазухой камень, чтобы бросить в другого?
И плюют другому в лицо? Любовь, вот насмешил старый дурак!

Ничего, ничего. Терпите. Я туже стяну резинку на своём конском седом хвосте. Я буду глядеть на вас и сам смеяться над вами, неразумными, беззубые дёсны обнажая, а вы терпите. Молчите! Я сам умею молчать. Молчанием можно сказать гораздо больше, чем словами. Вот я вам тут все словами говорил, и что? Вы теперь всё про меня знаете; да это вам только кажется, что знаете. А на самом деле я даже сам себя не знаю. И никогда не узнаю. Я, старый, беззубый, большеухий, как Будда, босой, как сам Иисус, буду ходить по пыльным и грязным дорогам и собирать в котомку души живые, мёртвые уже надоели, и всех мёртвых я оживить не смогу, мне бы всех живых воедино собрать, о лучшей участи и не мечтаю.

Звон доносится с дальнего храма. Звон обнимает меня. Я сижу у святого озера, идут круги по воде, я вынимаю из котомки горбушку хлеба и бутылку с водой, ем и пью. Гляжу на заходящее солнце. Над чем звонят? Над жизнью? Над чьей-то смертью? Надо мной тоже будут звонить, когда я умру. А может, не будут; я не царь, я – бродяга, над бродягами не звонят никогда. Меня вчера убили, а сегодня я воскрес. Воистину? А что есть истина? Я думал, что я знаю её. Нет. Не знаю. Да и вы не знаете. Никто не знает. Звонят в колокола, и глухие слышат. Они слышат всё. А слепые всё видят. Отпить из бутылки, ещё глоток! О, да у меня там не вода, а водка. Глоток, и ты сыт и пьян, и нос в табаке. Ещё глоток, и всё узнаешь сразу. Всё, что с нами будет. Любите слепых, они видят всё. Любите глухих, они всё слышат. Любите горьких пьяниц и бедных хромоножек на площадях ночных безумных городов – они пророчат о невозвратном.